

# Введение

## § 1. Предмет истории литературного языка

**§ 1.1. История литературного языка как лингвистическая дисциплина.** История языка — в частности, история русского языка — распадается на две взаимодополняющие части: историческую диалектологию и историю литературного языка. Эти дисциплины до некоторой степени соотносятся с основными источниками по истории языка: памятниками письменности и диалектологическими данными. Это две принципиально разные области, которые отличаются не только объектом, но и методикой исследования.

История литературного языка нередко понимается как история языка литературы; однако отождествление этих понятий неправомерно. Оно вызывает прежде всего методологические возражения: история литературного языка, очевидно, должна мыслиться прежде всего как история языка в строгом лингвистическом смысле; между тем, при понимании литературного языка как языка литературы история литературного языка оказывается по существу историей текста, т.е. дисциплиной промежуточной между литературоведением и лингвистикой, а не собственно лингвистической дисциплиной, какой она должна быть.

Различение языка, под которым понимается механизм порождения текста, и речи, под которой понимается текст как таковой, является одним из основных принципов лингвистики как науки. Оно отнюдь не теряет своей актуальности и в применении к литературному языку.

Отождествление литературного языка и языка литературы, по видимому, представляет собой вообще результат неправомерного переосмысления соответствующих понятий: по своему первоначальному смыслу эпитет «литературный» в выражениях такого рода непосредственно соотносится совсем не с «литературой» в современном значении этого слова, а с «литерой» (буквой), ср. выражение *homo litteratus*, которое в противоположность *homo rusticus* означало именно человека грамотного, владеющего книжной латынью, т.е. грамотея, книжника. Выражение «литературный язык», таким образом, означает по своему исходному смыслу язык книжный, т.е. нормированный, связанный с грамотностью, с книжным учением. Литературный язык связан при этом со специальной книжной нормой.

Тем самым, история литературного языка — это история н о р м ы. Между тем, история языка литературы — это история о т к л о н е н и й о т н о р м ы. Это определяет принципиально различный подход к языку литературных произведений у историка литературного языка и у историка литературы. Историка литературного языка интересуют стандартные явления, т.е. тот фон, на котором реализуется творческая активность отдельных авторов; историка литературы интересует творческое своеобразие писателя, в частности, постольку, поскольку оно проявляется в языке. Исследование языка литературы предполагает в качестве необходимого условия знание литературного языка.

История литературного языка позволяет, в принципе, определить, насколько тот или иной текст соответствует нормам литературного языка данной эпохи; иначе говоря, история литературного языка дает возможность прочесть текст глазами современного ему читателя, владевшего литературным языком своего времени.

Соотношение понятий «литература» и «литературный язык» не всегда одинаково. В определенной языковой ситуации — в частности, в той, какая имела место в Древней Руси, — именно применение литературного языка, т.е. языка, которому специально обучались грамотные люди, может служить критерием для суждения о принадлежности памятника письменности к кругу «литературных» (с точки зрения соответствующей эпохи) произведений. Иначе говоря, именно соблюдение норм литературного языка позволяет определить отношение рассматриваемого текста к «литературе». Понятие «литературного языка» выступает в этих условиях как первичное по отношению к «литературе».

Возможна и иная ситуация, когда, напротив, литературный язык ориентируется на употребление в контексте литературы (в языке образцовых авторов). В этом случае понятие «литературы» является первичным по отношению к «литературному языку». Такая ситуация, в частности, характерна для России со второй половины XVIII в. Таким образом, история русского литературного языка оказывается связанной с изменением языковой ситуации и переменной типа литературного языка.

### § 1.2. Понятие языковой нормы; система и норма.

Определение литературного языка как нормированного языка, связанного при этом со специальной книжной нормой, ставит вопрос о сущности языковой нормы и специфике книжной нормы.

Понятие «норма» противопоставляется вообще понятию «система». Система представляет собой явление языкового кода, норма — явление языковой культуры. Система языка соотносится с

его функционированием как средства коммуникации; это тот механизм языка, который позволяет передавать и принимать сообщения. Языковая норма не связана непосредственно с задачами коммуникации, в ней реализуется отношение носителя языка к языковой деятельности. Поэтому языковая система стремится к оптимализации коммуникационных процессов (с учетом разных интересов говорящего и слушающего как основных участников коммуникации, см. Успенский, 1967/1997), т.е. к оптимальной реализации тех структурных возможностей, которые представлены в данном языке, к эффективности средств выражения. Языковая норма выполняет совсем другие задачи: она призвана вписать языковую деятельность в более общий план культурного, т.е. социально ценного поведения. В специальных терминах семиотики можно было бы сказать, что в системе языка формальные средства выражения предстают в аспекте с е м а н т и к и (поскольку система обеспечивает адекватную передачу содержания), тогда как в норме они предстают в аспекте п р а г м а т и к и (поскольку норма обеспечивает одинаковое отношение участников коммуникационного процесса к языку как средству выражения информации).

Признак в системе определяется функциональным противопоставлением языковых единиц (формальных средств выражения); признак в норме определяется противопоставлением нормы к а к ц е л о г о другой норме или же вообще ее отсутствию. Таким образом, признаки в системе взаимосвязаны непосредственно через отношение единиц друг к другу; признаки в норме связаны опосредованно — через отношение единиц к целому. Признаки в системе не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены; признаки в норме не образуют внутренне упорядоченного целого, они мотивированы не отношением друг к другу, но внешними для данной нормы факторами (противопоставлением другой норме или нормам). Общее значение признаков системы — смысловозначительное, иначе говоря, в системе языка элемент *a* противопоставляется элементу *b* постольку, поскольку есть случаи, когда это отражается на смысле; в других случаях говорится, что это противопоставление нейтрализуется. Общее значение признаков нормы определяется именно самим фактом принадлежности к той или иной норме. При этом принадлежность к норме осознается как явление языковой п р а в и л ь н о с т и.

Поскольку понятие языковой правильности может быть неодинаковым в разных социумах, пользующихся одним и тем же языком, одна и та же система может соотноситься с несколькими нормами, вступающими в разнообразные отношения друг с другом, — в ряду которых выделяется специальная книжная норма.

Можно сказать, что система определяет противопоставления как таковые, но безразлична к конкретной реализации этих противопоставлений; реализация противопоставлений может определяться нормой. Таким образом, система как бы задает спектр возможностей, выбор из которых может принадлежать норме. Элементарным примером может служить соотношение заднеязычных шумных в русском языке: [к] противопоставлено по признаку звонкости [г] и по признаку смычности [х]; [г] противопоставлено [к] и [х] по признаку звонкости. Эти противопоставления фонологичны (ср. минимальные пары *кот — год, кот — ход, год — ход*). Между тем, фонема /g/ не имеет соответствующего противопоставления по смычности, т.е. не имеет звонкого фрикативного коррелята /ɣ/, который был бы фонологически противопоставлен /g/. Поэтому можно считать, что для системы безразлично, как будет реализовываться /g/, — как смычный или как фрикативный.

Когда же мы говорим о звуке [g] как явлении языковой нормы, для нас существенно, что правильно произносить те или иные слова с [g] и неправильно с [ɣ], и наоборот, ср. [гара], а не [ура], но [боу даст], а не [бог даст]. Это чистая условность в том смысле, что это противопоставление не обусловлено системой языка: замена звуков в данном случае не отражается на смысле и даже не препятствует взаимопониманию. Тем не менее, норма выбирает каждый раз одну из реализаций и предписывает ее как правильную.

Всякая норма связана с обучением и, соответственно, с более или менее сознательным усвоением и восприятием языка. Если система, как правило, не осознается носителем языка, то норма в большей или меньшей степени осознается как таковая — именно постольку, поскольку она преподается, навязывается индивиду социумом. В зависимости от степени осознанности нормы, от степени эксплицитности обучения, от того значения, которое придается норме социумом, и могут различаться разные виды норм, соотносенных с одним и тем же языком. Книжная норма связана с формальным кодифицированным (в частности, школьным) обучением. Соответственно, она характеризуется максимальной осознанностью и эксплицитностью.

Связь нормы с обучением и сознательный характер ее усвоения проявляется, с одной стороны, в возможности и с п р а в л е н и я неправильных (ненормативных) речевых форм, с другой же стороны, в явлении г и п е р к о р р е к ц и и. Как то, так и другое явление дает возможность опознать норму, т.е. установить самый факт наличия некоторой нормы и определить, что тот или иной языковой признак связывается с понятием правильной, нормативной речи. Исправления — это реакция на неправильную речь со стороны обучающего социума. Гиперкоррекция — это реакция на правильную речь со стороны обучающегося индивида

(т.е. реакция, обусловленная стремлением говорящих усвоить ту или иную норму).

Явление гиперкоррекции связано с тем, что в процессе усвоения языковой нормы устанавливается к о р р е л я ц и я между правильной и неправильной речью, т.е. между теми формами, которыми владеет говорящий, и теми формами, которые он стремится усвоить. Эта корреляция осознается в виде п р а в и л, позволяющих преобразовать неправильную речь в правильную; устанавливая соответствия от неправильной речи к правильной, говорящий осмысливает эти соответствия как правила, позволяющие производить обратную трансформацию. В тех случаях, когда такое осмысление неправомерно, эти правила применяются слишком широко, в результате чего и возникают гиперкорректные формы. Так, например, в разговорной латыни уже в I в. до н.э. выпадает [h] в начале слова. При овладении нормами литературного языка возникают неправильные образования типа *hinsidias* вместо *insidias*, когда говорящий в своем стремлении восстановить потерянный [h] помещает его там, где его быть не должно. Совершенно так же в русских цокающих диалектах носитель диалектной речи, желая говорить правильно, заменяет всякое [с] на [щ] и в результате произносит не только *чай* вместо *цай*, но и *черковь* вместо *церковь*.

Поскольку норма усваивается сознательным образом, в сознании носителя язык дан прежде всего как норма и ему свойственно все речевые явления рассматривать через призму нормы. Те явления языка, которые не соответствуют нормативным представлениям, вообще игнорируются языковым сознанием носителя языка.

**§ 1.3. Виды языковых норм: специфика книжной нормы.** Явление нормы предполагается вообще всякой нормальной (непатологической) языковой деятельностью. Соответственно, характеристика специальной книжной нормы, т.е. нормы литературного языка, предполагает дифференциацию разных видов норм.

Говоря о видах языковых норм, необходимо прежде всего различать п е р в и ч н у ю (естественную) норму, усваиваемую в процессе овладения естественной (разговорной) речью, и более специальные в т о р и ч н ы е нормы (дополнительные по отношению к первичной норме, искусственные), к числу которых относится, в частности, и книжная норма, т.е. норма литературного языка. Первичная (естественная) норма непосредственно соотносится с системой языка, тогда как вторичные (искусственные) нормы соотносятся прежде всего с первичной нормой (накладываются на нее).

Если всякая вообще норма усваивается в процессе обучения, то первичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения. Необходимо иметь в виду, что уже и она

обнаруживает основные признаки нормы, что проявляется в исправлениях и гиперкоррекции. Это говорит о том, что ее усвоение в какой-то мере сознательно.

Система усваивается раньше, чем норма. Ребенок начинает освоения системы: в его речи реализуются формы, которые с и с т е м н ы, но не н о р м а т и в н ы, т.е. потенциальные формы, которые допускаются системой, но не допускаются нормой. Затем путем обучения происходит отбор правильного, т.е. нормативного языкового материала. Если языковая система определяет вообще потенциальные возможности языкового разнообразия, то норма в данном случае определяет тот или иной выбор из этих возможностей, т.е. определенную их реализацию. Эта реализация более или менее случайна с точки зрения самой системы — в том смысле, что она не предписана самой системой, а имеет внешний по отношению к ней характер. Она не необходима, а условна, она обусловлена не собственно лингвистически, но социолингвистически — в том смысле, что говорящий подчиняется требованиям социума.

Можно предположить, что на определенном этапе ребенок переходит от чисто механического усвоения языка к м е т а я з ы к о в ы м вопросам. Он начинает сознательно относиться к языку. На этом этапе, например, он может сознательно имитировать неправильную речь, тогда как раньше он ее просто порождал, не заботясь о том, правильна она или неправильна, — вообще, в его сознании появляется критерий правильной, хорошей речи. Точно так же он может порождать м е т а т е к с т ы, т.е. речь о речи (например, спрашивать, что значит то или иное слово, и т.п.).

Именно на этом этапе ребенок начинает усваивать то обучение, которое преподает ему социум. Это обучение происходит именно через метатексты: ребенку объясняется, как надо и как не надо говорить. Соответственно, общество учит не только правильной речи, но учит воспроизводить или по крайней мере осмыслять речь неправильную, т.е. показывает, по каким признакам норма противостоит ее отсутствию.

На этой стадии в детской речи появляются разнообразные гиперкорректные формы. Существует качественная разница между ситуацией, когда ребенок, не умеющий произносить звук [г], говорит *лыба* вместо *рыба*, и ситуацией, когда, овладев этим звуком, он начинает говорить *родка* вместо *лодка*. В этом последнем случае ребенок говорит *родка* не потому, что он не может сказать *лодка* (как это было в случае произношения *лыба* вместо *рыба*), но по совсем иной, противоположной причине: он стремится говорить правильно, и именно это его стремление обуславливает порождение неправильной формы. Антитеза «умение — неумение» (как в случае произношения *лыба* вместо *рыба*) сменяется на этом этапе антитезой «правильность — неправильность» (отсюда *родка* вместо *лодка*), и это свидетельствует об усвоении нормы.

Усвоение нормы всякий раз обусловлено вхождением в тот или иной социум. Поскольку в течение жизни человек может входить в разные социумы, постольку различные нормы могут наслаиваться одна на другую. Так, могут последовательно возникать требования: «говорить, как все» (в процессе нормализации детской речи, т.е. при вхождении в социальный мир), «говорить, как избранные» (при овладении социальным жаргоном, т.е. при вхождении в тот или иной замкнутый социум), «говорить (и писать), как культурные люди» (при овладении книжной нормой, т.е. при вхождении в социум грамотных людей) и т.п. Книжная норма усваивается в сознательном возрасте, причем усваивается в процессе искусственного (формального), а не естественного обучения: в данном случае имеет место искусственное обучение тому языку, который общество считает правильным и который реализует себя в письменности.

Таким образом, норма есть социальное явление. Она объединяет некоторый социум и выступает как знак социума. Поэтому, наряду с имманентно присущим всякой норме общим значением правильности, норма имеет еще и побочное социальное значение: она демонстрирует принадлежность к определенному социуму. В некоторых случаях этот социальный аспект может выступать на первый план, т.е. владение нормой осмыляется как ценностный факт именно потому, что демонстрирует принадлежность к тому или иному социуму. Социальная значимость соответствующих речевых признаков (конституирующих данную норму) определяется престижем данного социума.

Поскольку норма выступает как знак социума, постольку ее усвоение может быть вызвано обратным (более или менее искусственным по своему характеру) стремлением: приобщиться к тому обществу, которое обладает для носителя языка социальным престижем. В этом случае правомерно говорить о «социальных жаргонах». «Социальные жаргоны» следует отличать от «социальных диалектов» (например, дворянский, мешанский диалект и т.п.), обусловленных социолингвистической дифференциацией общества. Норма социального диалекта представляет собой первичную норму, т.е. усваивается в детском возрасте как норма разговорного общения. Между тем, норма социального жаргона по определению усваивается как вторичная норма, в сознательном возрасте, т.е. связана с осознанным намерением войти в некоторый социум. Усвоение первичной нормы происходит по инициативе социума, усвоение вторичной социальной нормы происходит по инициативе самого говорящего. Социальные жаргоны в целом или в отдельных (наиболее значимых) своих признаках имеют, как правило, наддиалектный характер и в этом отношении могут быть уподоблены литературному языку.

Книжная норма, обнаруживая известное сходство с вторичными социальными нормами (усвоение в сознательном возрасте, наддиалектный характер), существенно от них отличается. Она демонстрирует приобщенность индивида не к тому или иному социуму —

хотя бы и достаточно авторитетному, — а к культуре, к письменности: книжная норма связана с приобщением к культурной традиции, в принципе имеющей (с точки зрения носителя языка) не социальный, а абсолютно ценностный план. Авторитетность книжной нормы обеспечивается не социальным престижем, но принципиальной консервативностью, связью с традицией. В случае книжной нормы вперед выступает не социальное значение нормы, а первичное имманентно присущее ей значение языковой правильности.

Если усвоение литературного языка в принципе имеет характер приобщения к некоторой норме, то усвоение социального жаргона обычно обусловлено, напротив, отталкиванием от общепринятых речевых навыков: первое имеет характер центростремительный, второе — центробежный. Отсюда общепринятость книжной нормы противостоит эзотеризму и специализации социальных жаргонов. Отсюда же следует вообще и нехарактерность для литературного языка социальной дифференциации.

**§ 1.4. Литературный язык и живой язык.** Если всякая норма усваивается в процессе обучения (§ 1.2), то первичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения; ее можно назвать «естественной» нормой. Напротив, вторичная норма усваивается в сознательном возрасте в процессе более или менее специального и в известном смысле искусственного (для литературного языка — формального) обучения; ее можно назвать «искусственной» нормой.

Степень разрыва между искусственной и естественной нормой может быть существенно различной в разных языковых ситуациях. Для литературных языков это определяется типом литературного языка (§ 1.6): разрыв между двумя нормами оказывается существенным, когда литературный язык отталкивается от разговорной речи, и сводится к минимуму, когда литературный язык ориентируется на разговорную речь.

Естественная (первичная) норма воспринимается пассивно — в том смысле, что здесь не имеет места сознательное воздействие на норму со стороны носителя языка. Между тем, искусственная (вторичная) норма, усваиваясь на фоне уже осознанной естественной нормы, воспринимается активно. Именно здесь оказывается возможной сознательная обработка нормы (и, в частности, сознательное ее изменение), обусловленная представлениями носителя языка о том, каким должен быть язык.

В случае всякой языковой нормы имеет место вообще сознательное отношение носителя языка к языку, выражающееся в представлении о языковой правильности (о правильной речи, т.е. о правильной реализации языка). Однако в случае искусственной

языковой нормы отношение носителя языка к языку оказывается действенным фактором, влияющим на самую норму. Искусственная норма может быть в той или иной степени результатом сознательного отношения к языку.

Естественная норма формируется в результате подражания. Искусственная норма может формироваться в результате творческой деятельности. Иными словами, если естественная норма — это только передаваемая норма, то искусственная норма — это обрабатываемая норма. Искусственная языковая норма и, в частности, норма литературного языка поддается сознательному «улучшению», обработке.

В случае естественной языковой нормы имеет место односторонняя (однаправленная) связь между социумом и индивидом: социум влияет на индивида. В случае искусственной языковой нормы эта связь имеет, вообще говоря, двусторонний характер: при образовании (формировании и эволюции) искусственной языковой нормы та или иная роль может принадлежать индивидуальному началу, т.е. индивид может влиять на социум — индивидуальное поведение в этом случае влияет на социальное. Примером может служить нормализаторская деятельность филологов, которая оказывает непосредственное влияние на литературный язык.

Языки, базирующиеся на искусственной норме, можно назвать искусственными языками. Искусственный язык противопоставляется при этом живому (или естественному) языку. Под живым языком понимается, следовательно, совокупность системы и естественной языковой нормы, тогда как искусственный язык представляет собой то или иное сочетание живого языка и искусственной языковой нормы.

В этом смысле литературный язык представляет собой искусственный язык. Литературный язык связан именно с искусственной (вторичной) нормой, усваиваемой в процессе формального (максимально кодифицированного) обучения и реализующейся в авторитетной для данного общества письменности — литературе. Соответственно, литературный язык связан с письменной, книжной традицией.

К сфере искусственного можно отнести вообще все то, что связано с сознательным воздействием человека или коллектива на окружающую его действительность. В лингвистическом аспекте искусственность связана с сознательным воздействием носителя языка (как индивидуальной или социальной единицы) на свой язык. Это воздействие определяется представлением носителя языка о том, каким должен быть язык, т.е. представлением о характере и приро-

де правильности; последнее, в свою очередь, обусловлено своеобразной лингвистической идеологией носителя языка.

Искусственные языки относятся к явлениям культуры — в частности, уже и в прямом этимологическом смысле этого слова (*cultura* — буквально: обработка, возделывание). Литературный язык, наряду с литературой, приемами обучения и т.п., принадлежит к явлениям книжной культуры (культуры, связанной с письменностью). Тем самым, литературный язык непосредственно соотносится и со вторичным значением слова *cultura*, связанным с просвещением, образованностью.

Итак, история литературного языка оказывается связанной с своеобразными лингвистическими представлениями носителей языка. Носитель языка выступает как наивный лингвист, причем соответствующие лингвистические представления обусловлены принадлежностью его к определенной культуре и передаются по традиции. Эти лингвистические представления могут играть существенную и даже определяющую роль в формировании и развитии литературного языка.

Одновременно в языке действуют объективные закономерности — структурные, эволюционные и др., — никак не связанные с идеологической (лингвистической) позицией носителя языка и совершенно от нее независимые. Эти закономерности относятся к развитию живого языка и, следовательно, к сфере естественного, а не искусственного — к природе, а не к культуре. Литературный язык связан с этими закономерностями не непосредственно, а опосредованно — через живой язык.

Литературный язык, будучи основан на искусственной норме, существует в противопоставлении живому. Это противопоставление может осуществляться за счет ограниченного набора признаков. Совокупность таких признаков и определяет в этом случае норму литературного языка, именно они являются тогда релевантными для языкового сознания. Вне этих признаков литературный язык может быть не противопоставлен живому. История этих признаков является одним из важнейших моментов истории литературного языка.

### § 1.5. Специфика эволюции литературного языка.

Характер эволюции литературного языка существенно отличается от характера эволюции языка живого. Эволюция живого языка определяется прежде всего имманентными законами языкового развития: здесь действует тенденция к оптимализации языкового кода, к повышению эффективности процесса коммуникации, к экономии усилий и т.д. Эволюция живого языка носит непрерывный характер, поскольку при оптимализации языкового кода сталкиваются интересы говорящего и интересы слушающего (как основных участников

коммуникативного акта), и это обуславливает постоянные колебания в развитии системы языка (Успенский, 1967/1997).

Эволюция литературного языка обнаруживает относительную независимость от эволюции языка живого, будучи зависима вместе с тем от языковой установки носителя языка. Эта установка определяет прежде всего самый тип литературного языка: ориентируется ли он на живой язык или отталкивается от него. В той мере, в которой литературный язык не противопоставлен живому, его эволюция подчиняется эволюции живого языка. Поскольку такие процессы не специфичны для литературного языка, они не входят собственно в историю литературного языка, а составляют ее фон. Собственная история литературного языка осуществляется в той сфере, где литературный язык противопоставлен живому. Развитие литературного языка в этой части имеет независимый характер и определяется языковым сознанием его носителей.

В языковом сознании фиксируется тот набор признаков, который противопоставляет литературный язык живому языку; оно обуславливает нормализацию литературного языка, прежде всего сознательный отбор элементов, которые признаются правильными (в частности, когда из ряда вариантов, представленных в живом языке, литературным признается какой-то один). Таким образом, языковое сознание определяет отношение литературного языка к живому языку. Вместе с тем, оно определяет как отношение к предшествующей языковой традиции, так и ориентацию на внешние языковые традиции. Изменения языкового сознания и являются основным фактором эволюции литературного языка.

В системе языка заложена потенция к языковым изменениям. Норма, между тем, представляет собой фиксацию языка в языковом сознании и поэтому относительно стабильна. Система — динамична, норма — статична. Статичность, консерватизм нормы тем сильнее, чем более осозанный характер она имеет, что и определяет особую устойчивость норм литературного языка. Противопоставление литературного и живого языка вписывается в более общее противопоставление культуры и природы. Вообще, если природа находится в вечном и непрерывном движении, то культура осознает себя как норму или как совокупность норм и предстает как нечто фиксированное. Консервативность, стабильность нормы (и особенно книжной нормы, эксплицитно связанной с фиксацией языка в его традиционных формах) противостоит динамичности, непрерывной изменчивости живого языка. Литературный язык тяготеет к стабильности, живая речь — к изменению.

Отсюда возникает непременная дистанция между литературным языком и живой речью, образующая как бы постоянное на-

пряжение между этими полюсами, нечто вроде силового поля. Степень разрыва между литературным языком и живой речью определяется при этом типом литературного языка. Эта дистанция имеет место, в частности, и в том случае, когда литературный язык ориентируется в своем развитии на разговорную речь. Как ни стремится литературный язык догнать живой разговорный язык, живая речь неизменно опережает его в своем развитии, создавая обязательный разрыв, который и обеспечивает в конечном итоге восприятие литературного языка как литературного. Литературный язык объективно функционирует как таковой только постольку, поскольку он противопоставлен живой речи. Таким образом, стремясь догнать живую речь, литературный язык как бы стремится к самоуничтожению, которое, однако, не осуществляется, поскольку литературный язык непременно отстает от нее в своем развитии.

Можно сказать, что различие в характере эволюции системы и нормы сводится к разнице между дискретным и непрерывным развитием; соответственно определяется и разница между изменением живой речи и изменением литературного языка. В отличие от эволюции системы эволюция нормы — в том числе и книжной нормы, т.е. нормы литературного языка, — имеет не непрерывный, а дискретный (ступенчатый) характер. Это связано со спецификой функционирования языковой нормы, фиксацией ее в языковом сознании.

Итак, если история языка может пониматься как объективный процесс, принципиально не зависящий от отношения к языку говорящих, то развитие литературного языка находится в непосредственной зависимости от меняющейся установки носителя языка. Таким образом, история литературного языка оказывается самым непосредственным образом связанной с историей отношения к языку, с историей представлений о том, каким должен быть язык. Это предполагает изучение лингвистической установки носителя языка на разных исторических этапах. Отсюда, в частности, история литературного языка в ряде моментов смыкается с историей грамматической мысли: важным источником оказываются здесь разнообразные сочинения о языке.

В более общем плане история литературного языка оказывается соотношенной с историей культуры. Языковое сознание, лингвистическая идеология входят в систему культурных ценностей и изменяются вместе с нею. Поэтому основные процессы в истории литературного языка так или иначе связаны с процессами развития культуры, а следовательно — и с историей общества. Эта связь проявляется, в частности, в периодизации истории литературного языка: радикальные изменения литературного языка всякий раз связаны с изменением культурной ориентации, с принятием новой системы куль-

турных ценностей. Отсюда такое большое значение в истории литературного языка приобретает история культурных влияний.

Говоря о культурных влияниях, следует иметь в виду, что особенностью эволюции литературных языков является «их способность влиять друг на друга вне тех пространственно-временных условий, в которых обычно влияют друг на друга живые народные языки», т.е. вне условий непосредственного контакта — во времени или в пространстве (Трубецкой, 1927/1995, с. 167). Литературные языки способны усваивать культурные влияния, приходящие издавна и издали. Соответственно, могут различаться внутренние и внешние культурные влияния. Внутренние влияния осуществляются во времени и выражаются в регенерации старых норм, т.е. в попытках восстановить утраченную норму литературного языка, исходя из представлений о том, каким был этот язык (ср. создание чешского национального литературного языка в конце XVIII — начале XIX в.). Внешние влияния осуществляются в пространстве и выражаются в заимствованиях (ср. § 1.6), а иногда вообще в трансплантации чужих норм; отметим, что заимствоваться при этом могут не только конкретные формы и модели, но и сама концепция литературного языка. Иногда внешнее и внутреннее влияния совмещаются. Так, второе южнославянское влияние в истории русского литературного языка (§§ 9–12) может рассматриваться, с одной стороны, как внешнее влияние, т.е. влияние южнославянских языковых норм, с другой же стороны, как попытка регенерации старых языковых норм, восходящих к кирилло-мефодиевской эпохе (южнославянский извод церковнославянского языка воспринимается при этом как более архаичный).

**§ 1.6. Типы литературных языков.** Проводя наиболее общую классификацию, можно выделить два типа литературного языка: литературный язык, ориентирующийся на разговорное употребление, и литературный язык, противостоящий живой речи.

Формирование литературного языка, ориентирующегося на разговорную речь, не в меньшей степени обусловлено представлениями говорящих о языке, чем формирование литературного языка противоположного типа. И в этом случае мы имеем дело с определенной лингвистической идеологией — идеологией, приписывающей ценность естественному и отнимающей ее у искусственного, декларирующей образцом для себя язык как природу. Следует помнить, что данный тип языка совсем не универсален, а обусловлен определенным типом культуры, прежде всего культурой нового времени, восходящей к Ренессансу.

Необходимо иметь в виду, что литературный язык, ориентирующийся на разговорное употребление, ориентируется не на всякую

разговорную речь, а на некоторую ее разновидность. Такой разновидностью может быть речь столицы (ср. московское произношение в качестве литературного) или речь социальной элиты (например, придворного или дворянского общества). Вместе с тем, возможна ситуация, когда столичная речь не рассматривается как образцовая (ср. отношение разговорного языка Петербурга, Лондона, Копенгагена к соответствующим литературным языкам); как нелитературная (манерная) может восприниматься и речь социальной элиты (так, например, воспринимались придворные речевые навыки в России начала XX в.). К типу языков, ориентирующихся на разговорную речь, принадлежит и современный русский литературный язык. Следует помнить, однако, что это не единственный возможный тип литературного языка; в России, в частности, этот тип установился лишь в сравнительно недавнее время в результате языковой политики послепетровской эпохи (Успенский, 1985; Успенский, 1994, с. 115 сл.).

Другой тип литературного языка представляет язык, противостоящий живой речи. Литературный язык этого типа может не только противостоять живой речи, но и отталкиваться от нее (по определенному набору признаков). Этим определяется своеобразная зависимость формирования литературного языка этого типа от разговорного языка — зависимость, носящая негативный характер. Это проявляется, в частности, в гиперкоррекциях, а именно, гиперкорректные формы появляются в тех случаях, когда книжная форма совпадает с разговорной (ср. гиперкорректные замены форм русского церковнославянского языка, совпадающих с формами русского разговорного языка: *злень* вместо *зелень*, *мужду* вместо *мужу*, *скажду* вместо *скажу*, *погруждаемь* вместо *погружаемь*, и т.п.).

В числе типологических характеристик литературных языков может рассматриваться и их отношение к заимствованиям. Можно полагать, что живые языки в одинаковых условиях одинаково реагируют на заимствования, т.е. легко усваивают их в условиях непосредственного контакта. Между тем литературные языки, в отличие от живых, могут реагировать на заимствования по-разному. Литературные языки могут быть ориентированы *экстравертно* или же *интравертно*.

При экстравертной ориентации литературный язык ориентирован на усвоение, впитывание чужой культуры. При этом своя культура в этом случае обычно рассматривается как продолжение чужой. Так, русская книжная культура (resp. письменность, образованность и т.п. — «литература» в прямом этимологическом смысле) до XVIII в. воспринималась как продолжение греческой, а в послепетровский период — как продолжение европейской культуры.

Подобная ориентация обуславливает разнообразные заимствования: насыщенность заимствованиями в этих условиях придает речи

литературность, определяя характер противопоставления литературного и нелитературного языка. Однако заимствования при этом возможны только из той культуры, которая осмысливается как ценностная. Так, в русский литературный язык сначала проникают заимствования из греческого, а затем — из западноевропейских языков (главным образом, из французского). Исследуя хронологию заимствований из разных языков в том или ином литературном языке (и принимая во внимание при этом лексико-семантические группы слов, связанные со сферой влияния того или иного языка), можно достаточно четко определить последовательность культурных влияний.

Если литературный язык всеяден в отношении заимствований, т.е. если в нем представлены заимствования из разных языков, причем разноязычные заимствования не поддаются хронологической стратификации — иначе говоря, если процесс заимствования практически не связывается с культурным престижем языка-источника, — это означает, что перед нами литературный язык, ориентированный на разговорную речь. Разговорная речь усваивает элементы чужих языков (находящихся в непосредственном контакте с данным языком), и они автоматически переходят затем в литературный язык.

Помимо языка-источника, заимствования из которого обусловлены специальным культурным престижем (ср. греческий и французский для русского литературного языка на разных этапах его истории), важная роль принадлежит языкам-посредникам, которые выступают как проводники культурных влияний. Иначе говоря, очень часто при экстравертной ориентации заимствования усваиваются не непосредственно из языка-источника, а через ту или иную книжную традицию, которая воспринимается как авторитетный посредник в осуществлении соответствующих культурных контактов. Так, южнославянская книжная традиция воспринималась на Руси как авторитетный посредник в греческо-русских культурных контактах, и это обуславливает, с одной стороны, усвоение гречизмов в их южнославянской, а не исходной греческой форме и, с другой стороны, заимствование прямых южнославянизмов (т.е. собственно южнославянское влияние); в дальнейшем (в период никоновских и послениконовских книжных реформ) аналогичную роль играет книжная традиция Юго-Западной Руси (§§ 16–17). Точно так же заимствования из латыни и западноевропейских языков осуществляются через польское посредничество, а восприятие галлицизмов в целом ряде случаев осуществляется через призму немецкого языка. Естественно, что в подобных случаях влияние языка-посредника фактически может быть не менее, а даже более актуальным, чем влияние языка-источника, т.е. субъективная ориентация на язык-источник обуславливает объективное влияние языка-посредника.

Интравертная установка обыкновенно связана с националистическими тенденциями, обуславливающими стремление к культурному обособлению. Это проявляется в пуристическом отказе от заимствований; насыщенность заимствованиями не придает речи литературную окраску, но обуславливает отрицательный стилистический эффект. В этих условиях внешние культурные влияния проявляются не в виде прямых заимствований, но в виде калек. Таким образом, внешние культурные влияния могут фактически иметь место как при экстравертной, так и при интравертной ориентации, хотя они в этих случаях и проявляются по-разному.

Поскольку на разговорный язык не могут быть искусственно наложены соответствующие пуристические ограничения, литературный язык в условиях интравертной ориентации может противопоставляться разговорному именно по отсутствию прямых заимствований. Так обстоит дело в чешском языке, а отчасти и в польском. В арабской языковой ситуации разговорным арабским языкам свойственны прямые заимствования, тогда как классическому арабскому (т.е. литературному языку) — калки. Нечто подобное имело место у русских пуристов конца XVIII — начала XIX в., в частности, у Шишкова и шишковистов, разговорный язык которых был насыщен галлицизмами (ср. Логман и Успенский, 1975/1996, с. 447–448, 513–514; Успенский, 1994, с. 166).

Итак, как в случае экстравертной, так и в случае интравертной ориентации наличие заимствований может обуславливать противопоставленность литературного и живого языка.

Поскольку экстравертная ориентация обычно проявляется в отношении какого-то определенного языка (или группы языков), она может сочетаться с ограничениями на заимствования из других языков, т.е. с частичной интравертной ориентацией. Таким образом, экстравертная и интравертная ориентации могут сосуществовать в языке, распределяя сферы влияния.

Вообще очень часто интравертная ориентация проявляется не полностью, а частично, т.е. литературный язык отрицательно реагирует не вообще на заимствования как таковые, а на заимствования из определенного языка. Так, в литературном армянском избегаются тюркизмы (которыми насыщен, между тем, разговорный язык). В русском языке второй половины XVIII в. избегались заимствования из немецкого (опять-таки, присущие разговорной речи). Этот избирательный пуризм особенно часто возникает в том случае, когда литературный язык, заимствования из которого избегаются, воспринимается как угроза существованию национального литературного языка: так во фламандском избегаются заимствования из французского, в ирландском — из английского.

## § 2. Языковая ситуация и характер литературного языка

**§ 2.1. Вопрос о статусе церковнославянского языка в Древней Руси.** В основе изложенного выше понимания литературного языка лежит тезис о том, что между литературным и живым языком непременно должно иметь место то или иное взаимодействие; характер этого взаимодействия определяется типом литературного языка. Литературный язык может ориентироваться на разговорный, может отталкиваться от него, однако он всегда так или иначе с ним связан: в частности, эволюция живого языка отражается на эволюции языка литературного (в той сфере, где они не противопоставлены — ср. § 1.5). Вместе с тем возможны ситуации, когда в функции литературного языка выступает язык, вообще никак не связанный с разговорным, т.е. совершенно другой язык, которым овладевают как иностранным. Именно так функционирует латынь в германских или славянских католических странах до появления там национальных литературных языков. В соответствии с нашими определениями такой язык не может быть признан литературным языком соответствующего языкового коллектива: мы можем сказать, например, что латынь выступала в функции литературного языка у поляков, но не можем сказать, что латынь была польским литературным языком.

Вопрос о том, как трактовать подобную ситуацию, имеет самое непосредственное отношение к истории русского литературного языка. Несомненно, что с принятием христианства в X в. и по крайней мере до XVIII в. функции литературного языка выполнял на Руси церковнославянский язык. Этот язык был усвоен русскими от южных славян. Можно ли считать церковнославянский язык русским литературным языком? Или же мы должны начинать историю русского литературного языка с XVIII в. (такая точка зрения имеет своих сторонников, ср., например: Исаченко, 1963)?

Мы имеем все основания рассматривать церковнославянский язык как русский литературный язык эпохи средневековья. Действительно, этот язык, будучи заимствован извне, никогда тем не менее не изучался как иностранный. Поэтому он с самого начала вступает в тесные отношения с разговорным языком восточных славян и достаточно скоро начинает восприниматься как кодифицированная разновидность этого языка. В результате адаптации церковнославянского языка на Руси возникает особый русский извод церковнославянского языка. Таким образом осуществляется пересадка церковнославянского языка на русскую почву, и он пускает здесь глубокие корни. Взаимоотношения церковнославянского языка русского извода и

живого русского языка на разных исторических этапах и представляют собой ключевой момент истории русского литературного языка.

Тем самым, проблемы истории русского литературного языка самым непосредственным образом связаны с рассмотрением языковой ситуации Древней Руси. Это существенно отличает историю русского литературного языка от истории многих других литературных языков, где рассмотрение языковой ситуации не предполагается с непереносимостью самим предметом исследования; иначе говоря, указанное обстоятельство определяет специфику истории русского литературного языка как лингвистической дисциплины.

При обсуждении истории русского литературного языка необходимо иметь в виду, что понятие «русский» определяется теми культурными границами, которые соотносятся с названием «Русь» или «Россия». Тем самым с течением времени это понятие меняет свое содержание. Так, для древнейшего периода мы вправе говорить об общем литературном языке для всей территории восточных славян. Позднее, как известно, понятие «русский» ассоциируется по преимуществу с великорусской территорией. Итак, говоря о русском языке, мы имеем в виду ту или иную совокупность восточнославянских диалектов: для древнейшего периода — это совокупность всех восточнославянских диалектов, при том что со временем определение «русский» оказывается связанным с великорусскими диалектами.

**§ 2.2. Понятие диглоссии.** В течение многих веков в России функционировали два языка — церковнославянский и русский. Такие ситуации, когда в одном языковом коллективе функционируют два языка, широко представлены в мире. Эти ситуации могут быть определены либо как ситуации *д в у я з ы ч и я*, либо как ситуации *д и г л о с с и*. Под двуязычием понимаются те языковые ситуации, когда два языка обладают рядом общих функций, т.е. когда они функционируют более или менее параллельно. Такое явление широко известно и не нуждается в специальном объяснении (ср. французско-английское двуязычие в Канаде или русско-французское двуязычие в русском дворянском социуме конца XVIII — начала XIX в.). В случае диглоссии функции двух сосуществующих языков находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям одного языка в одноязычном языковом коллективе. При этом речь идет о сосуществовании *к н и ж н о г о* языка, связанного с письменной традицией (и вообще непосредственно ассоциирующегося с областью специальной книжной культуры), и *н е к н и ж н о г о* языка, связанного с обыденной, повседневной жизнью: ни один социум не пользуется в этих условиях книжным (литературным) языком как средством разговорного общения, т.е. это язык именно книжный, который никогда не выступает как разговорный.

Вообще можно сказать, что диглоссия как тип языковой ситуации в ряде моментов схожа с двуязычием, а в ряде моментов — с одноязычным сосуществованием литературного языка и диалекта. Как и при двуязычии, при диглоссии в одном языковом коллективе функционируют два языка, но при этом один (и только один) из этих языков является литературным языком в том значении этого термина, которое было определено выше: в соответствии с данным выше определением книжный (литературный) язык представляет собой вторичную, искусственную норму, накладываемую на живой язык и усваиваемую в процессе формального обучения. Если при двуязычии каждый из языков усваивается самостоятельно и независимо один от другого, то при диглоссии усвоение книжного языка опирается на знание не книжного: не книжный язык усваивается естественным путем, так сказать, впитывается с молоком матери, а книжный язык усваивается искусственным книжным путем через специальное обучение. Именно поэтому в языковом сознании при диглоссии книжный и не книжный языки воспринимаются как один язык — книжный язык выступает в этих условиях как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Между тем, для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык.

Соответственно, в отличие от двуязычия, т.е. сосуществования двух независимых и в принципе эквивалентных по своей функции языков, которое представляет собой явление избыточное (поскольку функции одного языка дублируются функциями другого) и, по существу своему, переходное (поскольку в нормальном случае следует ожидать вытеснения одного языка другим или слияния их в тех или иных формах), диглоссия представляет собой очень стабильную языковую ситуацию, характеризующуюся устойчивым функциональным балансом (взаимной дополнительностью функций). Действительно, ситуация диглоссии может сохраняться в течение многих веков.

Ситуация диглоссии представляет собой достаточно типичное явление. До начала нашего столетия она была представлена в арабском мире, в Греции, в Эфиопии, в Бирме, на Цейлоне, в тамильской части Индии и, видимо, в ряде других ареалов. В некоторых из этих ареалов она сохраняется и до сих пор (например, в части арабских стран). Лингвисты долгое время не замечали специфики этой ситуации, поскольку осмысливали ее в привычных для них категориях двуязычия или же сосуществования литературного

языка и диалекта. Впервые этот феномен как особый тип языковой ситуации был описан лишь в середине XX в. (Фергусон, 1959/1964). В настоящее время в силу экспансии европейских культурных моделей, обуславливающей ориентацию на европейскую языковую ситуацию, диглоссия постепенно исчезает.

Для того чтобы опознать ситуацию диглоссии, мы должны уметь четко отличать ее от ситуации двуязычия, с одной стороны, и от ситуации сосуществования литературного языка и диалекта, с другой. Из самого определения диглоссии вытекает ряд моментов, которые могут служить диагностическими признаками.

**§ 2.2.1. Диагностические признаки диглоссии: отличия от двуязычия.** Как говорилось, при диглоссии книжный (литературный) и некнижный (живой) языки распределяют свои функции так, что они оказываются в дополнительном распределении, т.е. практически не пересекаются; при двуязычии, напротив, сосуществующие в языковом коллективе языки обладают рядом общих функций, т.е. в некоторых контекстах возможно употребление как того, так и другого языка. Соответственно, в условиях двуязычия оба языка так или иначе противопоставляются друг другу и, тем самым, непременно фиксируются в языковом сознании, они осознаются именно как два разных и самостоятельных языка. Между тем, в условиях диглоссии сосуществующие языки не противопоставляются, а отождествляются. В этих условиях живой, некнижный язык может совершенно игнорироваться языковым сознанием — при том, что этим языком постоянно пользуются как средством разговорного общения.

Так, например, образованный араб вполне может утверждать, что его сограждане, не владеющие в достаточной степени литературным арабским языком, просто-напросто не знают по-арабски: для него существует только кодифицированная форма этого языка, все же остальные формы оказываются как бы несуществующими, они не осознаются как самостоятельные формы. Совершенно так же интеллигентный араб может заявлять, что всегда пользуется литературным арабским языком, хотя это заявление явно не соответствует действительности, поскольку сфера применения литературного языка чрезвычайно ограничена и он разговаривает практически на совсем другом языке (на живом арабском языке, который очень существенно отличается от литературного); тем не менее, только употребление книжного языка оказывается значимым для языкового сознания.

При диглоссии книжный язык не может выступать в качестве средства разговорного общения, что полностью исключает его из сферы быта. Если в языковом коллективе оба сосуществующих языка могут использоваться в качестве средства разговорного общения, перед нами не диглоссия, а двуязычие.

Понятие языковой нормы и, соответственно, языковой правильности связывается в условиях диглоссии исключительно с книжным языком, что проявляется прежде всего в его кодифицированности. Напротив, некнижный язык не может быть в этих условиях кодифицирован. Как мы уже говорили, книжный язык в отличие от некнижного эксплицитно усваивается в процессе формального обучения, и поэтому только этот язык воспринимается в языковом коллективе как правильный, тогда как некнижный язык понимается как отклонение от нормы, т.е. нарушение правильного языкового поведения; иначе говоря, явления живой речи воспринимаются через эксплицитно усвоенные представления о языковой правильности, которые связываются с книжным языком. Вместе с тем именно в силу престижа книжного языка такое отклонение от нормы фактически признается не только допустимым, но даже и необходимым в определенных ситуациях. Если, напротив, кодифицируются или преподаются в процессе формального обучения два языка, перед нами не диглоссия, а двуязычие.

Поскольку при диглоссии два языка воспринимаются как один, а контексты их употребления характеризуются дополнительным распределением, перевод с одного языка на другой оказывается в этих условиях принципиально невозможным. Из этого не следует, что одно и то же содержание нельзя выразить как на том, так и на другом языке; однако в этих условиях невозможно функционирование соотносящихся друг с другом параллельных текстов с одним содержанием — коль скоро некоторое содержание получает языковое выражение, т.е. выражено на одном языке, оно в принципе не может быть выражено на другом. Сказанное может быть проиллюстрировано невозможностью перевода сакрального текста на разговорный язык при диглоссии. Появление подобных переводов свидетельствует о разрушении диглоссии. Показательно, что такие переводы всегда вызывают активный протест носителей традиционного языкового сознания; так, в Греции перевод Нового Завета на новогреческий язык (димотики) в 1903 г. был воспринят как кощунство и привел к народному восстанию.

Совершенно так же при диглоссии невозможен и обратный перевод, т.е. перевод на книжный язык текста, предполагающего некнижные средства выражения. Отсюда следует, в свою очередь, принципиальная невозможность в этих условиях шуточного, пародийного использования книжного языка, т.е. применение его в заведомо несерьезных, игровых целях. В самом деле, пародия на книжном языке представляет собой именно недопустимый при диглоссии случай употребления книжного языка в неподобающей ситуации; вообще в этих условиях отсутствует пародия как лите-

ратурный жанр (если понимать литературу как совокупность текстов на литературном языке, ср. § 1.1).

Таким образом, диглоссию характеризует ряд признаков негативного характера, которые отличают эту языковую ситуацию от ситуации двуязычия, а именно: 1) недопустимость применения книжного (литературного) языка как средства разговорного общения; 2) отсутствие кодификации разговорного языка, отсутствие специального обучения этому языку; 3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием (особенно характерны в этой связи запрет на перевод сакральных текстов и невозможность пародии на книжном языке). При несоблюдении хотя бы одного из этих условий мы вправе предположить, что сосуществующие друг с другом языки находятся не в отношениях диглоссии, а в отношениях двуязычия.

**§ 2.2.2. Диагностические признаки диглоссии: отличия от ситуации сосуществования литературного языка и диалекта.** Рассмотрим теперь, как соотносится ситуация диглоссии с более обычной для нас ситуацией сосуществования литературного языка и диалекта. Как уже говорилось, при диглоссии ни один социум не пользуется книжным (литературным) языком как средством разговорного общения. Именно это обстоятельство в принципе отличает ситуацию диглоссии от одноязычной языковой ситуации: в ситуации сосуществования литературного языка и диалекта всегда имеется социум, который разговаривает на литературном языке (и на который ориентируются другие носители языка, желающие говорить правильно). Критерии языковой нормы, языковой правильности оказываются связанными при диглоссии исключительно с книжным языком, тогда как разговорное употребление лежит вообще вне этих критериев.

Отсюда следует нехарактерность социолингвистической дифференциации при диглоссии — разговорная речь вообще не имеет в этих условиях ценностного характера и поэтому не может служить для выделения одних социальных групп сравнительно с другими. Характерная для функционирования литературного языка в одноязычной (недиглоссийной) ситуации соотношенность с социальными верхами, а нелитературного языка (просторечия) — с социальными низами при диглоссии принципиально невозможна, поскольку для всего общества употребление как книжного, так и некнижного языка является в принципе обязательным и зависит только от речевой ситуации. Одни и те же представления о языковой правильности оказываются в этих условиях едиными для всех слоев общества (при том что степень знакомства с книжным языком может быть неодинаковой в разных социумах). Следует отметить, что разрушение диглоссии нередко бывает связано с появлением социо-

лингвистической дифференциации, когда элитарный социальный диалект принимает на себя функции литературного языка.

**§ 2.3. Книжный язык как язык культуры и язык культа при диглоссии.** Поскольку при диглоссии книжный язык не употребляется в повседневном общении, а разговорный язык не функционирует в значимых для общества ситуациях, противопоставление книжного и некнижного языка однозначно соотносится с противопоставлением культуры и быта. Как уже говорилось, при двуязычии два сосуществующих языка имеют ряд общих функций, и поэтому они параллельно функционируют по крайней мере в одной из сфер — культуры или быта; таким образом, противопоставление культуры и быта не соотносится с противопоставлением языков. В условиях сосуществования литературного языка и диалекта литературный язык, поскольку он служит средством разговорного общения, выступает и как язык культуры, и как язык быта. И здесь, следовательно, противопоставление литературного и нелитературного языка не накладывается однозначно на оппозицию культуры и быта. Однозначное соотнесение книжного (литературного) языка и некнижного (живого) языка с противопоставлением культуры и быта специфично исключительно для диглоссии.

Отсюда определяется культурная значимость книжного (литературного) языка при диглоссии — только с этим языком связываются культурные ценности и культурное сознание данного общества. Это проявляется прежде всего в особом престиже книжного языка. Книжный язык является средством отграничения культуры от некультуры, именно поэтому он и ограничен в своем функционировании. Напротив, живой разговорный язык оказывается не связанным в этих условиях ни с какими культурными ценностями; этот язык вообще выпадает из культурного сознания. Тем самым признаки, противопоставляющие книжный и некнижный языки, получают в условиях диглоссии особую семиотическую значимость.

Однозначная связь противопоставления языков с противопоставлением культуры и некультуры основывается при диглоссии на особом ценностном характере книжной традиции. Эта традиция ориентирована, как правило, на корпус сакральных текстов, которые являются основополагающими для данной культуры. Можно вообще предположить, что ориентация на такой корпус текстов является неизменным условием возникновения диглоссии. Сакральные тексты могут выполнять такую роль в том случае, когда религия в принципе требует знания этих текстов от всех верующих, а не только от особой жреческой касты. Так обстоит дело в тех культурах, в которых наблюдается диглоссия и которые основаны на буддизме, христиан-

стве или исламе. Проповедь веры связывается здесь с освоением определенных текстов (так, например, проповедь христианства представляет собой проповедь Евангелия как книги), а их знание выступает как необходимая предпосылка спасения (получения благодати). То или иное знание этих текстов необходимо в принципе всем, и поэтому всем необходимо то или иное знание книжного языка.

Анализируя ареалы распространения диглоссии, можно прийти к выводу, что эта ситуация имеет место там, где возникновение книжной культуры было связано с религиозным просвещением. Диглоссии не возникало там, где культурная и литературно-языковая традиция предшествовали проповеди новой религии. Именно поэтому диглоссия нехарактерна для европейской культуры: в Европе греческий и латынь стали языками церкви потому, что они уже задолго до этого были языками цивилизации. Соответственно, латынь и греческий не были изначально связаны с религиозными ценностями. Между тем диглоссия предполагает обратную ситуацию, когда тот или иной язык становится языком культуры и цивилизации в результате того, что он является языком культа. Если в первом случае литературный язык используется в разных своих функциях и ни одна из них не является определяющей, то во втором случае именно религиозная функция выступает как главная и обуславливает особый престиж литературного языка, особенно тщательно соблюдаемую дистанцию между книжной и разговорной речью (ср. Унбегаун, 1973).

В этой ситуации распределение функций между книжным и некнижным языком может восприниматься в религиозных терминах: в частности, употребление книжного языка в неподобающих обстоятельствах, равно как и использование некнижного языка там, где предполагается употребление языка книжного, может восприниматься как кощунство. Этим восприятием и объясняются, видимо, те протесты против переводов сакральных текстов на некнижный язык, о которых мы говорили выше (§ 2.2.2).

Дистанция между книжным и некнижным языком обеспечивается определенным набором формальных признаков (ср. § 1.4), которые в силу этого приобретают особое значение: они отделяют сакральное от профанного, чистое от нечистого. Соответственно, они начинают восприниматься не как некий конвенциональный способ выражения, а как формальные элементы, безусловно связанные с религиозными ценностями. Так, литературный арабский язык воспринимается прежде всего как язык Корана, и в этом качестве ему приписывается божественное происхождение; считается, что это тот язык, который возник при сотворении мира (Фергусон, 1959/1964, с. 432). Не менее показательны, что при переводе буддийских текстов с пали на бирманский передается не только их содержание,

но и их морфологическая структура. В силу неконвенциональности понимания знака сакральность содержания переносится на средства выражения, и самый язык воспринимается как сакральный.

Дистанция между сакральным и несакральным (профанным) языком обеспечивается охранением культурной традиции, поэтому культура и язык оказываются ориентированными на прошлое. Соотнесенность литературного языка с корпусом сакральных текстов обуславливает консервативность книжной нормы. Поэтому в условиях диглоссии тексты практически не стареют, читаются и переписываются те тексты, которые были созданы много веков назад, и эти тексты выступают как образцы (в частности, и в языковом отношении), по которым создаются новые сочинения. Такое положение вещей разительно отличается от ситуации в европейских культурах нового времени, когда язык произведений двухсотлетней или трехсотлетней давности оказывается недоступным для широкой читательской аудитории.

Особое значение в данных условиях приобретает и обучение книжному языку — обучение языку выступает здесь как путь к религиозной истине. Оно необходимо для всех и поэтому имеет всеобщий характер. При этом обучение языку имеет целью прежде всего научить понимать сакральные тексты, а не научить активному владению книжным языком. Вместе с тем, обучение языку сливается здесь с катехизацией, т.е. с обучением основным моментам религиозной доктрины. Естественно, что сама процедура обучения приобретает при этом ритуализованный характер, обучение начинается с молитвы и ею завершается. Обучение языку понимается как иррациональный мистический путь к истинному знанию, большую роль играет заучивание текстов наизусть. Образованность при таком подходе связана прежде всего со знанием текстов и совпадает с начетничеством.

#### § 2.4. Изменение языковой ситуации в России и периодизация истории русского литературного языка.

Взаимоотношения церковнославянского и русского языков, которые поставили перед нами проблему языковой ситуации (§ 2.2), строятся в Древней Руси по модели диглоссии. В самом деле, перед нами два языка, функции которых находятся в строгом дополнительном распределении; один из этих языков, а именно церковнославянский, связан с письменной традицией, бытование второго языка, русского, связано по преимуществу со сферой повседневного общения. Есть все основания предполагать, что церковнославянский язык не употреблялся в качестве разговорного; только церковнославянскому языку обучали, и только с ним была связана нормализаторская и кодификаторская деятельность. Наконец, в этот период не существует ника-

ких переводов с церковнославянского на русский и с русского на церковнославянский или вообще каких-либо параллельных текстов на этих языках с одним и тем же содержанием. Все это позволяет утверждать, что церковнославянский и русский языки находились не в отношениях двуязычия, но в отношениях диглоссии.

Вместе с тем, в истории русского литературного языка имело место и церковнославяно-русское двуязычие. Более того, эволюция русского литературного языка связана именно с переходом от церковнославяно-русской диглоссии к церковнославяно-русскому двуязычию. Поскольку двуязычие, в отличие от диглоссии, представляет собой нестабильную языковую ситуацию (§ 2.2), переход этот имеет радикальные последствия для истории русского литературного языка, а именно, распад двуязычия приводит к становлению русского литературного языка нового типа — языка, ориентирующегося на разговорное употребление.

Этим определяется кардинальное значение понятия языковой ситуации для периодизации истории русского литературного языка. Здесь выделяются три основных периода:

1. Период диглоссии с XI по XVII в.
2. Переходный период церковнославяно-русского двуязычия и становления языка нового типа со второй половины XVII по начало XIX в.
3. Стабилизация нового русского литературного языка — с начала XIX в. по настоящее время.

В этой книге мы будем рассматривать, главным образом, первый период, а второй затронем лишь в той мере, в какой он непосредственно связан с предшествующим, а именно, речь пойдет о разрушении диглоссии и о перестройке отношений между церковнославянским и русским языками.

Рассматриваемая нами эпоха распадается на три основных этапа, связанных с тремя последовательными культурными влияниями. Условно обозначая их как «южнославянские» (о конкретном содержании этого термина будет сказано ниже), мы можем говорить о следующих этапах:

1. Первое южнославянское влияние и формирование русской редакции церковнославянского языка (XI—XIV вв.).
2. Второе южнославянское влияние и образование двух редакций церковнославянского языка — великорусской и югозападнорусской (XIV—XVII вв.).
3. Третье южнославянское влияние и разрушение диглоссии на великорусской территории (XVII—XVIII вв.).

Как видим, первые два этапа соотносятся с периодом диглоссии, последний этап — с переходным периодом.